

ГОРЯЧИЙ
ШОКОЛАД
ДЛЯ МИСТЕРА ТРАМПА

...



Анатолий Клепов

Горячий шоколад для мистера Трампа

<https://litres.ru/74390819>

SelfPub; 2026

Аннотация

Барбара Уолтерс сорок лет садилась напротив тех, кого знала планета: Кастро, Никсон, Хепбёрн. Не лучших — знаменитых. Она никогда никого не судила. Она ждала секунды, когда с великого человека сползёт маска.

Дональд Трамп покупал только лучшее: самые высокие башни, самый большой самолёт, самую великую страну. «Лучшее» — единственное слово, которым он умел любить.

Но купленное не любит. Оно только принадлежит.

Ноябрь 1989-го, «Плаза». Двое сбегает с бала в пустой зал. Она заказывает две чашки горячего шоколада и не даёт ему заплатить.

В тот вечер он снял маску. Без камер, без света, без свидетелей. Это могло быть интервью её жизни — и она его не взяла. Тридцать три года молчала.

Он не понял, что ему подарили. Он спросил, сколько это стоило.

При последней встрече: «Ты помнишь Плазу?» — «Лучшее какао в стране!» А на кухне того же отеля его наливали половником горничным. Оно не стоило ни цента — и потому было бесценным.

Она умерла, забыв все имена. А он в тот день не сказал ни слова.

Содержание

ПРОЛОГ. Осень империи	5
Глава 1. Парад вспышек	14
Глава 2. Власть надевает фартуки	31
Глава 3. Выход шефа Трампа	45
Глава 4. Тяжеловесы	59
Глава 5. Тени прошлого	72
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Анатолий Клепов

Горячий шоколад для мистера Трампа

ПРОЛОГ. Осень империи

Есть чашки, которые помнят больше, чем люди.

Эта была маленькая, белая, с тонкой золотой каймой по краю — почти стёршейся от времени и тысячи прикосновений губ. Она стояла на кованом столике из тех, что расставляют на террасах богатых домов вдоль океана, и от неё поднимался пар — медленный, ленивый, тающий в тёплом флоридском воздухе.

Дональд Трамп держал её в руках.

Ему было семьдесят шесть. Он сидел один на залитой утренним солнцем террасе Мар-а-Лаго, своего поместья во Флориде, в белом махровом халате, и смотрел на воду. Океан в этот час был плоским и блестящим, как расплавленное олово, и по нему бежала одна-единственная дорожка света — прямо к горизонту, будто кто-то оставил дверь приоткрытой. Рядом стояло пустое кресло. Он не помнил, зачем его поставили и кто должен был в нём сидеть. Может быть, ни-

кто. Может быть, просто привычка ставить два кресла там, где всю жизнь садились вдвоём.

Лицо у него было тяжёлое, изрезанное морщинами, которые не могли скрыть ни загар, ни свет. Волосы — уже не золотые, а белёсые — были всё так же зачёсаны назад, привычным, отработанным за десятилетия движением. Глаза, когда-то голубые и колючие, теперь смотрели вдаль с той усталой мягкостью, которая приходит к человеку только тогда, когда завоёвывать больше некого и не для кого.

Он поднёс чашку к губам. Вдохнул.

Ваниль. Корица. И где-то на самом дне, едва уловимо, — апельсиновая цедра.

И вместе с этим запахом, как всегда — уже сорок лет, как всегда, — к нему вернулась она. Не образ даже, а голос. Низкий, грудной, чуть насмешливый голос женщины, которой давно не было на свете. Голос Барбары Уолтерс.

«Только не пей как акула, Дональд. Не заглатывай».

Он усмехнулся — один, на террасе, над океаном. Человек в белом халате, усмехающийся собственным воспоминаниям.

Сделал маленький глоток. И задержал его во рту, как она учила. Как учила в тот вечер, тридцать три года назад, в Нью-Йорке — в городе, который тогда принадлежал ему весь, до последнего кирпича. В отеле, который тогда носил его имя.

В моём отеле.

Позвольте представиться, раз уж нам предстоит провести вместе целую ночь. Меня зовут «Плаза».

Да, тот самый отель. Юго-восточный угол Центрального парка, Манхэттен, Нью-Йорк. Девятнадцать этажей французского ренессанса, восемьсот номеров, мраморные колонны и люстры, о которых слагают легенды. Меня построили в 1907 году, и с тех пор я стою здесь, наблюдая, как этот город без конца перекраивает сам себя — эпоха за эпохой, будто никак не может подобрать наряд к лицу.

За сто с лишним лет у меня было столько владельцев, что я давно перестала запоминать их имена. Это, если хотите, единственная мудрость, которую здание способно накопить за век: не запоминать имён победителей. Их слишком много, и они слишком похожи. Каждый приходит с той же уверенностью в глазах, с той же убеждённостью, что уж он-то — навсегда. Каждый вешает своё имя над моим входом и верит, что мрамор запомнит его лучше, чем предыдущего. Мрамор, между нами говоря, вообще ничего не запоминает. В этом его главное достоинство и единственное утешение.

Я видела Вандербильтов. Я видела разорившихся биржевиков, которые прыгали из окон верхних этажей в чёрном октябре двадцать девятого. Я видела «Битлз» в номере на двенадцатом этаже, и я видела гангстеров в моём Дубовом зале. Я пережила две мировые войны, тринадцать спадов, один сухой закон и такое количество свадеб, что давно перестала верить в слово «навсегда», хотя из вежливости продолжаю

кивать, когда его произносят под моими люстрами.

Так что, когда осенью 1988 года очередной новый хозяин вывесил над моим фасадом четыре золотые буквы — T, R, U, M, P, — я не испытала ничего, кроме лёгкой, вежливой скуки старой аристократки, которой в тысячный раз представляют очередного пылкого поклонника.

Дональд Трамп заплатил за меня четыреста семь миллионов долларов.

Для человека это была астрономическая сумма — газеты того времени захлёбывались нулями. Для меня — просто очередная строчка в очень длинном списке. Но эту я запомнила, и вот почему: так не платят за здание. Так платят за то, чтобы что-то себе доказать. А я на своём веку повидала достаточно людей с этой тихой, сосущей потребностью, чтобы узнать её с первого взгляда.

Мальчишка из Квинса.

Он, конечно, был уже не мальчишкой — сорока двух лет, в костюме за несколько тысяч долларов, с рукопожатием, отточенным до состояния оружия. Но я видела его насквозь, как видела всех. Мальчишка из-за реки, из тех кварталов, где его отец Фред строил крепкие кирпичные дома для людей, которые никогда не переступят порог таких зал, как мои. Мальчишка, который в детстве смотрел через Ист-Ривер на сияющий Манхэттен так, как голодный смотрит в окно ресторана. И вот теперь он купил меня — бриллиант в короне города — и, стоя посреди моего вестибюля, задрал голову к моим

люстрам, испытывал не радость.

Он испытывал облегчение. То самое облегчение человека, который наконец завоевал главный трон Нью-Йорка и в ту же секунду начал подозревать, что трон, пожалуй, был не совсем тем, чего ему на самом деле хотелось.

Впрочем, тогда я об этом не думала. Тогда я думала лишь о том, что предстоит очень шумная зима.

Осень 1989 года выдалась в Нью-Йорке щедрой и наглой. Это было время, когда доллар правил миром открыто, без стыда, почти с религиозным восторгом. Уолл-стрит гудела. Всего два года прошло с «чёрного понедельника» восемьдесят седьмого, когда индекс за один день рухнул почти на четверть и биржевые маклеры белели лицом прямо у телефонных трубок, — но город уже всё забыл, как забывает всё, что мешает веселиться. Джанк-облигации плодили миллионеров за одну ночь. Майкл Милкен ещё был королём Уолл-стрит, хотя над ним уже сгущались тучи обвинений. Айвен Боэски уже сел, обронив на прощание бессмертное «жадность — это хорошо», подхваченное с экрана Гордоном Гекко. По Пятой авеню ходили женщины в мехах и мужчины в подтяжках, и все они говорили о деньгах так, как раньше говорили о Боге, — понизив голос, с придыханием.

Мир за окнами тоже трещал по швам, только с другого конца. В том самом ноябре, за девять дней до моего гала-вечера, в далёком Берлине люди с кувалдами крушили стену,

простоявшую двадцать восемь лет, — и телевизоры в моих номерах показывали ликующие толпы, не вполне понимая, что показывают конец целой эпохи. Холодная война выдыхалась. Рейган ушёл, оставив после себя блеск, долги и уверенность, что Америка снова стала «сияющим городом на холме». В Белом доме сидел его преемник Джордж Буш, человек сдержанный и суховатый, при котором праздник восьмидесятых доживал последние, самые пышные месяцы, ещё не зная, что он последний. А в самом Нью-Йорке уже назревала другая, злая осень: город задыхался от преступности и крэка, Таймс-сквер была не туристической открыткой, а вертепом, и на носу были выборы, которые впервые в истории приведут в мэрию чернокожего — Дэвида Динкинса. Старый Нью-Йорк денег и старый Нью-Йорк улиц жили бок о бок, почти не соприкасаясь. Имена на вывесках стали значить больше, чем лица под ними. Город обезумел от блеска, обожал своё безумие и просыпаться не собирался.

К Рождеству готовились заранее. На Пятой авеню зажигали первые огни, витрины наряжались, а воздух по вечерам уже пах тем особенным нью-йоркским холодом, в котором смешаны выхлопы, жареные каштаны и деньги. Много денег.

И среди всех сияющих имён этого города одно горело ярче прочих. Оно горело золотом над моим фасадом, отражаясь в мокром после дождя асфальте Пятьдесят девятой улицы, — TRUMP, — и человек, которому оно принадлежало, готовился к своему вечеру. Ему было мало быть богатым —

богатых в этом городе хватало. Он хотел быть символом. И, надо отдать ему должное, город с удовольствием ему подыгрывал: его лицо не сходило с обложек, его развод ещё только назревал, а книга «Искусство сделки» лежала у половины Манхэттена на прикроватных тумбочках, как новое Писание эпохи наживы.

Двадцать первого ноября.

В этот день мои двери должны были распахнуться для ежегодного благотворительного гала-вечера March of Dimes — организации, собиравшей деньги на борьбу с врождёнными дефектами, на здоровье матерей и детей. Дело было доброе и правильное, из тех, что позволяют очень богатым людям чувствовать себя очень хорошими людьми, не расставаясь при этом ни с чем существенным. Я не осуждаю. За сто лет я усвоила, что человеческая доброта почти всегда носит вечернее платье и приезжает на лимузине. Это не делает её менее настоящей. Просто делает более удобной.

Но у этого вечера была особая изюминка — та, что превращала обычный сбор средств в спектакль, о котором потом напишут все газеты города.

Знаменитости у плиты.

В этот вечер сенаторы и миллиардеры, звёзды телевидения и издатели газет, бывшие первые леди и действующие чемпионы мира по боксу должны были надеть белоснежные фартуки поверх смокингов и вечерних платьев, повязать на идеальные причёски поварские колпаки и — собственноруч-

но, у настоящих плит — готовить блюда. Для гостей. Для жюри. Для фотографов.

Это было прекрасно в своей абсурдности. Люди, которые за всю жизнь не сварили себе и яйца, чьи руки помнили только перья дорогих ручек и рукоятки чужих судеб, — эти люди должны были взять поварёшки и притвориться, будто умеют кормить. И весь Нью-Йорк должен был смотреть и восхищаться. Признаться, я предвкушала. За сто лет однообразного восхищения даже здание начинает ценить хорошую комедию.

А в самом центре этого спектакля, под моей главной люстрой, готовилась сцена одного-единственного человека — Дональда Трампа.

Он не собирался быть просто хозяином бала. Быть хозяином бала скучно: это всего лишь означает, что за всё платишь ты. Нет. В этот вечер владелец «Плазы», король Нью-Йорка, мальчишка из Квинса, завоевавший главный трон острова, собирался стать шеф-поваром. Он хотел не принимать аплодисменты — он хотел их заслужить. Поварёшкой. Как заслуживал всё в своей жизни: громко, ярко, на глазах у всех.

Я смотрела, как готовят мои залы. Как натирают до блеска мрамор колонн, вносят пятнадцать кулинарных станций, расставляют живые цветы в хрустальных вазах и медные кастрюли, начищенные так, что в них можно смотреться. Как настраивает инструменты оркестр в углу Большого бального зала. Как на кухне, глубоко в моём чреве, немолодой шеф-

повар варит первую за этот вечер порцию густого тёмного горячего шоколада — с ванилью, корицей и апельсиновой цедрой, — ещё не зная, что именно этот шоколад, а вовсе не блюдо триумфатора, переживёт всех, кто соберётся сегодня под моими люстрами.

Я знала многое. Не знала лишь одного.

Я не знала, что среди всех этих сияющих, шумных, тщеславных людей найдутся двое — Дональд Трамп и Барбара Уолтерс, — которые в разгар праздника отойдут от света к тёмному окну, выходящему на парк. Сядут за маленький столик. И проживут — вдвоём, за двумя чашками остывающего шоколада — тот единственный за весь вечер момент, который окажется настоящим. Который нельзя будет ни продать, ни перепродать. И который сорок лет спустя человек в белом халате будет держать в ладонях на террасе над океаном — вместе с маленькой белой чашкой и почти стёршейся золотой каймой.

Но до этого оставалось ещё несколько часов.

А пока за моими окнами сгущались ноябрьские сумерки, и по Пятьдесят девятой улице, разбрызгивая огни, уже выстраивалась первая вереница чёрных лимузинов.

Вечер начинался.

Глава 1. Парад вспышек



21 ноября 1989 года, 19:00

Двадцать первого ноября восемьдесят девятого года дождь над Нью-Йорком закончился ровно в семь — будто и он был в списке приглашённых и не хотел портить причёски раньше времени.

Я знаю толк во входах. За сто с лишним лет через мои двери вносили и выносили всё, что человечество считает важным, — невест и покойников, президентов и мошенников, чемоданы с деньгами и разбитые сердца. Но вечер March of Dimes был из тех редких случаев, когда сам въезд к моему подъезду превращался в спектакль важнее того, что происходило внутри. Потому что снаружи, на мокром асфальте Пятьдесят девятой улицы, стояли они — фотографы. А там, где стоят фотографы, любой человек, даже самый скромный, вдруг вспоминает, что он, вообще-то, произведение искусства.

Скромных, впрочем, сегодня не ожидалось.

Стая

Их было десятки. Может быть, сотня. Они сбились в плотную, потную, дышащую единым дыханием стаю за чугунной оградой, отделявшей мой подъезд от тротуара, — мужчины в дешёвых плащах поверх свитеров, с двумя, а то и тремя камерами на шеях, с запасными объективами, оттягивающими карманы, с той особой голодной злостью в глазах, которая

отличает людей, чей ужин зависит от чужого тщеславия.

Фотографы конца восьмидесятых были особой породой. Это ещё не были вежливые операторы с длиннофокусными объективами, снимающие с почтительного расстояния. Нет. Это были охотники ближнего боя. Они работали локтями, они ругались, они наступали друг другу на ноги и толкали в спину, и всё это — не переставая улыбаться своим жертвам, потому что оскорблённая звезда отворачивается, а отвернувшаяся звезда — это испорченный кадр и пустой холодильник дома.

— Влево возьми, влево, ты мне весь план загородил, боров!

— Сам подвинься, я тут с шести стою!

— Это Кляйн? Кляйн приехал?

— Какой Кляйн, идиот, это его водитель!

Они кричали не только на гостей — они кричали друг на друга, и этот второй, внутренний хор перебранки был, пожалуй, честнее всего, что звучало в тот вечер под моими окнами. Здесь никто не притворялся. Здесь шла настоящая работа, грубая и голодная, и мокрый асфальт под их ногами, превратившийся в чёрное зеркало, дробил и множил вспышки так, что казалось — сама земля вспыхивает им в такт, короткими белыми судорогами, от каждой открывшейся дверцы лимузина.

А лимузины всё прибывали. Они выстраивались в бесконечную очередь, уходящую хвостом к Пятой авеню, —

длинная чёрная змея, лоснящаяся под фонарями, дышащая выхлопом в холодный ноябрьский воздух. Мои швейцары в ливреях цвета слоновой кости, с золотыми галунами на плечах, едва успевали открывать дверцы: шаг к машине, наклон, поворот бронзовой ручки, лёгкий поклон — и назад, к следующей. Хорошая прислуга, я всегда это говорила, отличается от плохой тем, что умеет быть невидимой в двух шагах от самого яркого света. Мои швейцары были лучшими в городе. Их не замечал никто — и в этом было их молчаливое, недостижимое для гостей достоинство.

— Нэнси! Нэнси, сюда!

Стая колыхнулась вся разом, как единый организм, повернув сотню объективов в одну сторону.

19:03

Первой из вереницы, кого толпа узнала мгновенно, была Нэнси Рейган.

Она вышла из лимузина так, как выходят люди, последние восемь лет выходившие из машин под прицелом всего мира: не глядя под ноги, потому что под ногами всегда кто-то заботливо расстелет что нужно. На ней был васильковый костюм от Adolfo — тот самый идеально скроенный жакет с золотыми пуговицами, который она носила как броню в годы своего пребывания в Белом доме. Это был её цвет, её крой, её оружие. Она носила этот синий как знамя маленькой суверенной страны под названием «Нэнси Рейган», и страна эта, хоть и лишилась год назад главной резиденции, капиту-

лировать не собиралась.

Я разглядывала её с той особой нежностью, которую испытываю к людям, умеющим держать спину. Ей было под семьдесят, но осанка её была осанкой женщины, которую всю жизнь фотографировали, — прямая, чуть напряжённая в плечах, готовая к вспышке в любую секунду. Она и улыбнулась — ровно настолько, чтобы фотографы получили свой кадр, но не настолько, чтобы кто-то посмел подойти без приглашения. Улыбка бывшей первой леди была отмерена с аптечной точностью: миллиграмм тепла, ни граммом больше. Слишком мало — назовут ледяной. Слишком много — решат, что можно приблизиться. Нэнси Рейган не собиралась допускать ни того, ни другого; она вообще редко в жизни допускала что бы то ни было, чего не планировала заранее.

Рядом с ней, чуть отступя, двигались двое мужчин в неприметных тёмных костюмах — агенты секретной службы. Хотя и в гражданском, они были видны за версту: тёмные гарнитуры в ушах, от которых к воротнику сбегал витой проводок, и взгляд, который не задерживался на лицах, а скользил по ним, сортируя мир на «угрозу» и «фон» быстрее любого сканера. Они искали в этой блестящей толпе вовсе не красоту. И, глядя на них, я в который раз подумала, что власть — даже бывшая, даже отставная — никогда не приходит одна. За ней всегда стоят двое молчаливых мужчин, готовых закрыть её собой. Это, если хотите, единственное настоящее определение власти, которое я знаю.

— Миссис Рейган! Как вам жизнь без Белого дома?!

Она сделала вид, что не слышала. Это тоже было искусство — не слышать так, чтобы все поняли: услышала, но вы недостаточно важны. И, окружённая своими теньями, поплыла к моим дверям.

19:11

Красный «Мерседес» — не лимузин, демонстративно не лимузин — притормозил у бордюра, и стоя колыхнулась в новом направлении.

— Кляйн! Кэлвин приехал!

Из машины вышел Кэлвин Кляйн.

На нём был чёрный смокинг без единой складки, такого безупречного кроя, что казалось, будто ткань не сшита, а вылита по его фигуре. И это было не случайно, о нет. Это был смокинг человека, который сам одевал половину Америки и знал о крое одежды больше, чем кто-либо на этом континенте. Ни складки, ни морщинки, ни намёка на усилие — а ведь именно отсутствие видимого усилия и стоит в этом городе дороже всего. По-настоящему богат не тот, у кого дорогая одежда. По-настоящему богат тот, на ком её не видно.

Кляйн вообще был из тех людей, вокруг которых воздух будто менял состав. Мне даже почудилось — хотя здания, конечно, чувствуют запахи иначе, чем вы, — что вместе с ним в мой воздух всплыла тёплая, мускусная волна «Obsession»: того самого аромата, что в те годы смотрел с гигантских чёрно-белых щитов на половину страны, шептал

с телеэкранов, продавался быстрее, чем его успевали разливать по флаконам. Он торговал не духами. Он торговал желанием. И оттого запах, плывший вокруг него, был не просто запахом — он был обещанием той жизни, которую невозможно купить, но за флакон которой люди почему-то платили с восторгом.

Рядом с ним шла модель. Имя её никто не запомнит — и, боюсь, к утру его не вспомнит и сам Кляйн, — но скулы у неё были такие, что ими, как говорится, можно резать стейк, не доставая ножа. Кляйн окинул мой фасад коротким профессиональным взглядом — так смотрят люди, привыкшие оценивать пропорции, — и что-то шепнул своей спутнице. Она рассмеялась, запрокинув голову, длинно и звонко, и в это самое мгновение три вспышки поймали этот смех и унесли на первые полосы. Смеялась она, надо признать, дороже, чем иные говорят.

19:13

А вот следующую пару стая встретила иначе — с той смесью уважения и лёгкой скуки, с какой встречают людей, которых полагается знать, но за фотографии которых не платят.

Из тёмного «Кадиллака» вышел Марио Буатта — «Принц ситца», как звал его весь Нью-Йорк, самый модный декоратор десятилетия, человек, который научил новые деньги города, как обставлять свои квартиры, чтобы те выглядели, будто в них жили пять поколений старых денег. Круглый,

румяный, неудержимо весёлый, он выбрался из машины с видом человека, который идёт не работать локтями за место под вспышками, а от души повеселиться за чужой счёт — что, в сущности, и было его главным талантом, не считая ситца.

Он подал руку своей спутнице, и из машины следом появилась Пэт Бакли — жена писателя Уильяма Бакли, некоронованная королева нью-йоркской благотворительности, женщина, без которой в этом городе не обходился ни один по-настоящему важный сбор средств. Высокая, худая, элегантная той сухой, костистой элегантностью, что бывает только у женщин очень старой закваски, она оглядела мой подъезд, стаю фотографов и очередь лимузинов одним коротким взглядом — взглядом хозяйки, инспектирующей накрытый стол.

— Марио, — донеслось до меня, — если ты снова весь вечер будешь рассказывать про эту свою английскую скамеечку для ног, я пересажу тебя к глухому сенатору.

— Патриция, — отозвался Буатта, сияя, — скамеечка стоит дороже сенатора и куда лучше держит язык за зубами.

Пэт Бакли не улыбнулась — она была не из тех, кто улыбается на публику даром, — но в уголках её губ мелькнуло нечто, что у людей её породы заменяло смех. Они прошли мимо стаи, почти не удостоив её вниманием, — старые деньги не позируют, старые деньги просто присутствуют, — и растворились в тепле моего вестибюля.

19:15

А вот это уже было интересно.

Стая почуяла его раньше, чем открылась дверца, — тем безошибочным чутьём хищников, которое чувствует приближение главного блюда. Крики на секунду стихли, объективы развернулись все разом, пальцы легли на спуск.

Дональд Трамп вышел из своего лимузина первым.

Не следом за дамой, как предписывал этикет, которому его наверняка обучали. Первым. Потому что первым выходит хозяин, а не гость, — а Дональд приехал сюда не гостем.

На нём был смокинг, сшитый на заказ настолько безупречно, что казался второй кожей. Но главным было не это. Главным было выражение его лица. Он выпрямился на мокром тротуаре во весь свой немалый рост, поднял голову — и посмотрел на меня.

О, я хорошо знаю этот взгляд. За сто лет я собрала целую коллекцию взглядов, которыми люди меня одаривали. Туристы смотрят на меня снизу вверх, разинув рот. Аристократы старой закваски — сквозь меня, будто я мебель, что для них, впрочем, высшая форма комплимента. Влюблённые не замечают меня вовсе. Но Дональд смотрел иначе. Он смотрел на мой фасад как собственник — так смотрят на завоёванную крепость на следующее утро после штурма: с гордостью, с усталостью и с той едва заметной пустотой в глазах, что появляется у победителя, когда сражение уже позади, а что делать с трофеем — ещё не вполне понятно.

Каждый мой кирпич, каждая золотая буква над входом — **THE PLAZA**, горевшая в мокром воздухе, как маленькое зарево, — словно должны были в этот миг подтвердить ему, что теперь я принадлежу ему не только по документам. Дать то подтверждение, которого не могли дать ни немыслимая сумма, которую он за меня заплатил, ни заголовки утренних газет, ни рукопожатия сенаторов. Он смотрел на меня как собственник — но как собственник, которому всё ещё отчаянно нужно, чтобы собственность его любила. А я, повидавшая слишком многих владельцев, узнала эту породу мгновенно: человек, которому мало купить — нужно, чтобы купленное его полюбило. Он ещё не знал, что покупкой любви не добудешь. Он вообще многого ещё не знал в тот вечер.

А следом за ним из машины появилась Ивана.
Боже, Ивана.

Стая буквально взвыла. Если Дональд был для них главным блюдом, то Ивана была десертом — тем, ради чего задерживаются за столом, даже когда уже сыты.

На ней было платье от Christian Lacroix — ярко-красное, вызывающе, победно алое, с пышной юбкой до щиколоток, которая при каждом движении жила собственной шелестящей жизнью, и с золотым поясом, туго перехватывавшим талию — ту самую талию, о которой втайне мечтала и втайне же злословила добрая половина женщин этого города. Во-

лосы её были уложены в ту самую знаменитую начёсанную причёску — архитектурную, лакированную, устремлённую ввысь, — ту, над которой через десять лет будут смеяться карикатуристы, но которая сегодня, в этот ноябрьский вечер восемьдесят девятого, была самым воплощением того, что этот город считал элегантностью: дорого, много, заметно с другого конца улицы.

Ивана вышла из машины так, будто выход был её профессией, — а он, в сущности, и был. Она знала цену каждой вспышке и раздавала себя фотографам щедро, царственно, поворачиваясь то одним, то другим плечом, подставляя лицо свету под безошибочно выигрышным углом. Бриллианты в её ушах вспыхивали при каждом повороте головы, как маленькие сигнальные огни. Она взяла Дональда под руку — не так, как жена берёт мужа, а так, как королева принимает своего короля перед выходом к подданным, — и вспышки слились в один сплошной белый шквал, в грозу без грома, от которой мокрый асфальт под их ногами вспыхивал снова и снова.

— Дональд! Ивана! Вместе, вместе смотрите сюда! Сюда, королева!

Они смотрели. Разумеется, они смотрели. Они были созданы, чтобы смотреть в объектив, — эта пара, которую газеты уже окрестили королём и королевой Нью-Йорка и которая в этот вечер действительно ими была. Ни один из фотографов на мокром тротуаре не знал — да и они сами не зна-

ли, — что до конца этого блистательного союза оставались считанные месяцы. Что имя «Марла Мейплз» уже написано где-то на невидимой стене их общего будущего, хотя чернила ещё не проступили и никто, включая эту сияющую алую женщину, не умел прочесть того, что там стоит. Сегодня же они были королём и королевой, и город с восторгом соглашался в это верить.

Но сегодня они входили в мои двери единым целым — слитно, победно, ослепительно. И управляющий встречал их у порога с тем особым лёгким поклоном, которым встречают не гостей, а владельцев.

19:17

А почти сразу за ними — так, что фотографы едва успели перезарядить внимание, — подъехал ещё один лимузин, из которого вышла пара, при виде которой стая заметно ожи-вилась, хоть и по-другому.

— Барбара! Барбара Уолтерс!

Она вышла спокойно, без спешки, — женщина, которой не нужно было завоёвывать объективы, потому что вся Америка и без того впускала её в свои гостиные каждую неделю. На ней было тёмно-синее платье безупречного, но неброского кроя — она единственная из всех, кто прибыл в тот вечер, приехала не для того, чтобы её видели, а для того, чтобы видеть. У горла её мерцала барочная жемчужная брошь — жемчуг неправильной формы, настоящий, из тех, что предпочитают женщины, которым нечего доказывать, потому что

их богатство хранится не в сейфе, а в голове.

Рядом с ней шёл высокий, седеющий, крепко сбитый мужчина в отлично сидящем смокинге — Мерв Эйделсон, её муж, голливудский телепродюсер, человек, привыкший стоять по ту сторону камеры и потому державшийся чуть в стороне от вспышек, с той спокойной уверенностью, которая не нуждается в подтверждении. Он придержал для неё дверцу, коротко сказал что-то — она в ответ улыбнулась, но улыбкой рассеянной, той, которой отвечают, думая о другом, — и я, наблюдавшая за тысячами супружеских пар, входивших в мои двери, сразу отметила эту маленькую, ничего ещё не значащую трещинку: муж, который приехал на праздник, и жена, которая приехала на работу.

Потому что Барбара Уолтерс, переступая мой порог под руку с мужем, уже отпустила его — не жестом, а вниманием: тело ещё шло рядом, а взгляд уже ушёл вперёд, сквозь двери, в тепло и гул. Мерв говорил ей что-то лёгкое, кажется, про калифорнийскую погоду, про то, как там сейчас тепло. Она кивала невпопад и смотрела мимо него — туда, в зал.

19:20

Внутри всех входящих встречал запах.

Я редко говорю о запахах, потому что здания чувствуют мир иначе, чем вы. Но в тот вечер даже мои старые стены пропитались тем волшебным ароматом, что плыл навстречу из Большого бального зала. Пахло жареным мясом на открытом огне. Пахло трюфелями — тем тёмным, грибным, почти

неприличным духом, за который люди платят как за золото. Пахло свежей выпечкой, топлёным маслом, карамелью, разогретым шоколадом. А поверх всего этого, неуловимо, но отчётливо, витало что-то ещё — что-то, чему нет места в кулинарных книгах и что я, за неимением лучшего слова, назову адреналином. Запах предвкушения. Запах полутора сотен очень тщеславных людей, готовящихся весь вечер соревноваться в том, в чём ни один из них ничего не смыслит.

Мой вестибюль сиял. Флористы трудились над ним с самого утра: белые лилии и алые розы в высоких хрустальных вазах, гирлянды из еловых лап, уже намекающие на скорое Рождество, свечи в серебряных канделябрах, чей тёплый живой огонь спорил с холодным электрическим блеском люстр. Мрамор моих колонн был натёрт до такого состояния, что в нём отражались, вытягиваясь и колеблясь, фигуры входящих гостей, — так что каждый, переступая порог, встречал смутного золотого двойника самого себя, скользящего рядом по камню. Мне всегда нравился этот эффект. В нём было что-то честное: напоминание о том, что все мы в этих залах — лишь отражения, лишь блики, которые погаснут вместе со светом.

Потому что сегодня в моих залах действовали особые правила.

Вечерние платья и смокинги были прикрыты белоснежными фартуками. На головах у сенаторов и миллиардеров сидели поварские колпаки — они сидели поверх причёсок, только что уложенных лучшими парикмахерами города, так

нелепо и так трогательно, что нормальному человеку захотелось бы улыбнуться. Но никто не улыбался. Все были серьёзные, как хирурги перед операцией, потому что здесь шла война — кулинарная война, единственный вид войны, где можно проиграть и не потерять при этом ничего, кроме самолюбия. Хотя, надо заметить, для людей такого сорта самолюбие как раз и было единственным, что они по-настоящему боялись потерять. Деньги приходят и уходят. Власть меняет хозяев. А вот унижение при всём честном свете помнится долго.

У входа в зал гостей встречала стойка регистрации, где раздавали программки — тонкие, кремовые, с золотым тиснением. Внутри были напечатаны рецепты. И это, поверьте зданию, повидавшему истинную цену вещей, были не просто листки бумаги. Это были трофеи. Гости складывали их, прятали в вечерние сумочки и во внутренние карманы смокингов, чтобы потом, годы спустя, доставать на собственных обедах и небрежно ронять между переменной блюд: «А это, знаете ли, рецепт, который в восемьдесят девятом готовил сам Трамп. Я был там. Я пробовал». Люди коллекционируют не вещи. Люди коллекционируют доказательства того, что однажды оказались в нужном месте в нужный час, рядом с нужными людьми. Это единственная роскошь, которую не отберёт у них ни один финансовый кризис.

Оркестр в углу Большого бального зала — двадцать музыкантов во фраках — заиграл что-то лёгкое, ни к чему не обя-

зывающее, из тех мелодий, что созданы не для того, чтобы их слушали, а для того, чтобы заполнять паузы между чужими словами. И его почти сразу заглушил нарастающий гул: звон бокалов, шелест платьев, гулкий смех, шипение масла на пятнадцати сковородах — весь тот густой, самодовольный шум, из которого и состоит любой большой праздник в час своего расцвета.

Я смотрела, как заполняется мой зал. Как блеск встречается с блеском, как вспышки уступают место хрусталу, как полторы сотни имён, каждое из которых что-нибудь да значило в этом городе, перетекают под мои люстры и рассыпаются на группки, пары, дуэли взглядов. Праздник, ещё толком не начавшись, уже сиял на полную мощность.

А в дальнем конце зала, у дегустационной станции, чуть в стороне от общей суеты, уже стояла женщина в тёмно-синем платье, с барочной жемчужиной у горла. Она оставила мужа беседовать с каким-то продюсером у бара — легко, естественно, как оставляют пальто на вешалке, чтобы забрать позже, — и теперь стояла одна. Она держала в руке бокал шампанского, к которому так и не притронулась, и медленно, внимательно, без улыбки обводила взглядом всё это сверкающее многолюдье — так, как смотрит не гость, а хирург, ещё не решивший, откуда начинать разрез.

Но о ней — чуть позже.

Глава 2. Власть надевает фартуки



19:30

К половине восьмого зал уже не был залом — он стал сценой, которая притворялась кухней, притворяющейся праздником. Я, «Плаза», видел за свою долгую жизнь немало превращений: балы, где паркет стонал под тяжестью тиары; свадьбы, после которых оставались только счета и сожаления; поминки, замаскированные под юбилеи. Но это — это было чем-то новым даже для меня. Пятнадцать кулинарных станций выросли под моими люстрами «Тиффани», как грибы после дождя из чистого тщеславия, и каждая сияла так, будто готовилась не еда, а репутации.

Мраморные столешницы — холодные, безупречные, отполированные до состояния зеркала, в котором отражались лица тех, кто привык к отражениям. Медные кастрюли висели над станциями ровными рядами, начищенные до розового жара, и в их выпуклых боках гости множились, вытягивались, искажались — власть, увиденная сквозь линзу собственного блеска. Живые цветы — пионы, белые и тяжёлые, роняющие лепестки на белоснежные скатерти, — стояли между разделочными досками, как будто кто-то решил, что смерть овоща заслуживает погребальных венков.

Люстры мои горели вполнакала — так режиссёр приглушает свет, чтобы актёр казался значительнее. И под этим золотистым сумраком знаменитости — люди, чьи имена печат-

тали заглавными буквами, — надевали фартуки.

Ах, фартуки. Позвольте старому зданию улыбнуться. Нет ничего забавнее, чем наблюдать, как власть надевает фартук. Мужчина, который одним звонком двигал границы состояний, теперь завязывал за спиной тесёмки в белую полоску и не мог справиться с бантом. Женщина, чьё кольцо стоило дороже, чем годовой бюджет небольшого музея, повязывала поверх шёлка кусок хлопка и смеялась, будто это шалость. Фартук — великий уравнитель, думают они. Смотрите, мы такие же, как все, мы тоже режем лук, мы тоже смертны.

Они ошибаются, разумеется. Фартук ничего не скрывает. Он лишь подчёркивает.

У третьей станции стоял Генри Киссинджер.

Я наблюдал за ним с тем особым вниманием, какое приберегаю для людей, носящих историю в карманах. Он резал зелень — петрушку, кажется, или кинзу, я не всегда различаю то, что вянет так быстро, — и делал это медленно, сосредоточенно, будто нож в его руке был инструментом дипломатии. Пальцы двигались с той осторожностью, с какой подписывают то, что нельзя произносить вслух. Пальцы, помнящие тайные договорённости. Каждое движение — взвешенное, каждый надрез — обдуманый, словно от ровности этих зелёных крошек зависело равновесие в каком-нибудь дальнем полушарии.

Рядом, чуть позади, в полушаге от света — там, где свет

уже не находил её, но она находила всё, — стояла Нэнси. Не Рейган — та царила у входа со своим васильковым панцирем и своими тенями в наушниках. Эта Нэнси, жена Генри, не резала. Она подсказывала. Тихо, наклоняясь к его уху, роняя слово, поправляя угол. «Мельче, Генри». «Не так близко к огню». Она оставалась в тени с искусством человека, давно понявшего, что тень — не поражение, а позиция. Из тени видно всё, а тебя — почти никто.

Я запомнил её за это. Тень уважает тень.

И вот тогда я заметил её впервые. По-настоящему заметил.

Барбару.

Она вошла не так, как входят гости, — те входят, чтобы их увидели. Она вошла, чтобы видеть. Разница тонка, но я, дом, живущий взглядами, чувствую её кожей своих стен.

На ней было тёмно-синее платье Bill Blass — не чёрное, заметьте, чёрное слишком очевидно, чёрное кричит «я в трауре» или «я на охоте», — а тёмно-синее, цвет глубокой воды, цвет ночного неба перед тем, как оно решит, будет ли гроза. Поверх платья — фартук. Тот самый уравниатель. Но на ней он смотрелся не как уступка, а как маскировка: волк, надевший шкуру повара.

У горла — барочная жемчужная брошь. Неправильная, асимметричная жемчужина, из тех, что ювелиры прошлых веков не выбрасывали, а оправляли, потому что понимали:

несовершенство дороже совершенства, если оно уверено в себе. Позже я услышал, как она сказала кому-то, коснувшись броши двумя пальцами: «Настоящее богатство — в голове. Всё остальное — так, реквизит». И улыбнулась. Реквизит стоил как небольшая яхта.

Она была в жюри. Ей отвели дегустационную станцию — место, где не готовят, а судят. Идеальное место для неё. Потому что —

она не готовила. Она наблюдала.

А в полушаге от неё — не в тени, а именно рядом, чуть неуверенно, как человек, привыкший быть хозяином в другом городе, — стоял её муж.

Мерв Аделсон.

Позвольте мне представить его, ибо читатель должен понять, кто это, иначе половина вечера пройдёт мимо. Мерв построил «Лоример» — фабрику снов, ту самую, что подарила Америке «Даллас» и «Тихую пристань», семейные саги о богатых людях, которые предают друг друга красиво и в кадре. Он был человеком с Западного побережья, человеком солнца, бассейнов и павильонов, и здесь, в моём нью-йоркском зале, полном старых денег и старых обид, он был чужаком. Гостем из мира, где всё — картинка. И это, признаюсь, придавало ему особую трогательность: продюсер вымышленных интриг, оказавшийся посреди настоящих и не сразу это понявший.

Их брак был странной географической конструкцией: она — в Нью-Йорке, он — в Лос-Анджелесе, любовь по расписанию авиарейсов. И в тот вечер он держался при ней внимательно, чуть заботливо, подавал ей то салфетку, то бокал, которого она не брала. Он был рад показать её городу — или город ей, я так и не разобрал. Он смотрел на жену с тем тёплым, слегка растерянным восхищением, с каким смотрят на человека, которого любишь, но до конца не понимаешь.

Он не знал — да и откуда ему было знать, — что через три года этот брак кончится, как кончались все его браки, тихим разводом и разделённой недвижимостью. Сегодня он был просто мужем рядом с женой. Голливудский король без короны, приехавший на нью-йоркский карнавал.

А она стояла возле него и уже смотрела мимо. Не от нелюбви — от привычки. Мерв смотрел на неё; она смотрела на зал. Так и стояли эти двое: один влюблённый в человека, другой влюблённый в наблюдение. Он был её алиби. Пока он держал её под руку, весь зал видел жену. Никто не видел хищника.

Меню в тот вечер было парадом трофеев. Не еда — знамёна. Каждый ресторан прислал не блюдо, а заявление о том, кто он есть.

От **Le Cirque** — лобстерные крокеты на чёрной икре. Золотистые шарики, хрустящие снаружи, тающие внутри, уложенные на ложе икры, которое стоило больше, чем недель-

ная зарплата официанта, разносившего их. Рядом — крохотные бриоши с трюфелем, тёплые, воздушные, пахнущие так, будто сама земля решила прикинуться десертом. Гости брали их двумя пальцами, закатывали глаза и говорили «божественно» — слово, которое к этому вечеру потеряло всякий смысл от повторения.

От **Lutèce** — сырное суфле в белых рамекинах. Оно дрожало. Оно поднималось над краем фарфора, золотистое, надменное, готовое опасть от одного громкого слова, — и в этой хрупкости было что-то невыносимо честное. Суфле, как репутация, держится на воздухе и температуре и рушится, если открыть дверцу не вовремя. Я подумал: вот, вот единственное честное блюдо на этом столе. Оно хотя бы не притворяется, что переживёт ночь.

От «**21**» **Club** — мини-бургеры, те самые, что здесь звали «слиперами». Крошечные, дерзкие, демократичные до наглости — говядина в облаке мягкой булочки, — и оттого особенно любимые людьми, которым демократичность обычно не по карману и не по вкусу. Они хватали эти бургеры жадно, с облегчением, будто наконец-то им разрешили есть руками, будто фартук и правда что-то отменил.

А в углу — десертная станция.

Вот здесь, читатель, я прошу тебя замедлиться. Потому что здесь, тихо, почти незаметно, входит то, что позже станет важным.

Десертная станция была устроена как алтарь маленьких соблазнов. Клубника в шоколаде — ягоды, обмакнутые до половины в тёмную глазурь, застывшую глянцевым панцирем, так что каждая казалась драгоценностью, которую забыли в вазе. Тарталетки с лимонным курдом — золотые чашечки теста, наполненные кислой яркостью, увенчанные обожжённой корочкой безе, светящейся, как маленькое солнце в пасмурный день.

А в дальнем краю станции, отдельно, скромно, почти застенчиво — маленькие фарфоровые чашечки горячего шоколада от шефа «Плазы».

От моего шефа. Позвольте мне гордиться.

Это был не тот шоколад, что подают детям на катке. Это был шоколад для взрослых, познавших разочарование. Густой — ложка стояла бы в нём, если бы кто-то осмелился. Горьковатый — потому что настоящая сладость всегда знает вкус горечи и не боится его. И в глубине его тёмного тепла — три ноты, три голоса в тихом хоре: ваниль, круглая и утешающая; корица, сухая и пряная, как воспоминание о чужой кухне; и апельсиновая цедра — тонкая, резкая, светлая, вспышка солнца сквозь тучу, последний штрих, от которого весь напиток вдруг оживал.

Чашечки были крохотные. Их брали двумя пальцами — как и всё в тот вечер, что имело цену. Их брали, делали глоток, замирали на мгновение — то самое мгновение честного удивления, которое даже самые искушённые не успевают

спрятать, — и шли дальше, уже забыв.

Никто не заметил чашку. Никто, кроме неё.

Барбара остановилась у десертной станции. Мерв что-то говорил ей — про Калифорнию, кажется, про то, как там сейчас тепло, — но она уже не слушала. Она взяла чашечку. Не пила сразу — сначала вдохнула, чуть прикрыв глаза, будто читала запах, как читают чужое письмо. Потом сделала маленький глоток. И я, дом, готовый поклясться своими старыми балками, увидел, как на долю секунды её хронометр остановился. Как холодный расчёт уступил чему-то тёплому и настоящему — на один удар сердца, не больше.

Потом она поставила чашку. Улыбнулась мужу. И двинулась дальше, к своей охоте.

Но я запомнил. Я, «Плаза», беру на себя смелость сказать: символ был введён здесь, в этот тихий миг, на десертной станции, между клубникой и тарталетками. Чашка горячего шоколада — густого, горьковатого, с ванилью, корицей и апельсиновой цедрой. Запомни её, читатель. Она вернётся. Тихие вещи всегда возвращаются громко.

Тем временем зал жил своей блестящей суетой, и я комментировал её про себя — ибо кому ещё комментировать смертных, как не дому, который их переживёт?

Вот финансист — я не назову его имени, потому что имя его сегодня уже не важнее пепла, а тогда гремело на первых страницах деловых разделов, — человек, чьё состояние

измерялось в цифрах, недоступных воображению его собственной кухарки. Он сжёг лук. Просто сжёг. Стоял над скорородой с выражением ребёнка, впервые понявшего, что мир не подчиняется его воле, и оглядывался — не видел ли кто. Я видел. Я всё вижу. Это моя работа и моё проклятие. Человек, ворочавший миллионами, не совладал с одной луковицей — и в этом было больше правды о нём, чем во всех его балансах.

А вот у соседней станции — Бьянка Джаггер.

Ах, Бьянка. Икона тех ночей, что грохотали в «Студии 54», женщина, въезжавшая когда-то на белом коне в чужую легенду. Лицо, знакомое каждому, кто хоть раз открывал журнал. Она держала нож так, будто это гадюка, и резала помидор с брезгливым изяществом человека, которому впервые в жизни велели сделать что-то полезное руками. Помидор мстил. Сок брызнул на её фартук, и она вскрикнула — коротко, музыкально, с той самоиронией, которая и делает красоту умной, — и все вокруг рассмеялись. Это был хороший смех, потому что в нём было облегчение: смотрите, и она не умеет, значит, и мы имеем право. Бьянка подняла испачканную руку, как трофей, и позволила вспышке поймать этот жест. Она знала цену картинке. Она всегда знала.

Я наблюдал за ними с ироничным достоинством старого метрдотеля, который видел, как рождаются и умирают состояния, и научился не путать блеск с золотом. Они думали, что готовят ужин. На самом деле они готовили спектакль о том,

что умеют быть простыми. И спектакль этот был хорош — костюмы дорогие, свет мягкий, реквизит из чистой меди и белого мрамора.

Но у каждого спектакля есть зритель, который важнее актёров. И этот зритель уже нашёл своё место.

Барбара вернулась к дегустационной станции. К своему судейскому месту. Отсюда открывался лучший вид — она сама его выбрала, я уверен, ибо женщины, умеющие оставаться в тени, всегда точно знают, где встать. Мерв встал чуть поодаль, у колонны, с бокалом, из которого почти не пил, — довольный, что она в своей стихии, не понимая, что стихия эта не имеет к нему отношения.

Ей приносили пробы. Крокет от Le Cirque. Ложку суфле от Lutèce, дрожащую, испуганную. Половинку «слипера». Она пробовала. Она хвалила. Она произносила слова, от которых лица шефов расцветали, — «безупречно», «редкая рука», «я запомню». И каждое слово было правдой, и каждое слово было приманкой, потому что похвала — самая дешёвая валюта и самый дорогой крючок.

Она пробовала не еду. Она пробовала людей. По тому, как человек принимает похвалу, можно узнать о нём больше, чем из целого досье. Финансист, съёгший лук, покраснел и благодарил слишком горячо — значит, неуверен, значит, уязвим, значит, годится. Бьянка приняла похвалу как должное и тут же отиутилась — значит, умна, значит,

неинтересна: умных не едят, ими закусывают. Барбара раскладывала их по полочкам своей памяти, аккуратно, по одному, и где-то в глубине её тёмно-синего взгляда тикал секундомер, отсчитывающий не минуты вечера, а расстояние до того момента, когда один из них ей понадобится. Она обходила зал не как гостя, а как хищник обходит водопой на закате — неспешно, дружелюбно, почти лениво, выискивая того, кто станет главным блюдом вечера.

Кто-то подошёл к ней — светская дама, имя не важно — и спросил с той фамильярностью, что маскирует любопытство: «Барбара, дорогая, а вы что готовите? Где ваша станция?»

Она подняла глаза. Улыбнулась той самой улыбкой — тёплой снаружи, безмерно холодной на глубине, куда не дотягивался свет моих люстр.

— Я? — сказала она, и в голосе было столько мягкого удивления, будто вопрос показался ей милым и нелепым. — О нет. Я не готовлю.

Пауза. Ровно такая, какая нужна.

— Я наблюдаю.

Мерв у колонны улыбнулся и поднял бокал — он услышал только шутку. Он не услышал приговора.

А я, старая «Плаза», видевшая всё, почувствовал под своей штукатуркой то, чего давно не чувствовал: холодок. Не сквозняк из плохо пригнутого окна. Холодок узнавания. Потому что в этих трёх словах было больше правды, чем во всех блюдах этого вечера, вместе взятых.

Знаменитости готовили. Власть надевала фартуки. Медь блестела, суфле дрожало, шоколад остывал в маленьких фарфоровых чашечках, забытый всеми, кроме неё. Муж любовался женой. Актриса вытирала помидорный сок. Финансист прятал горелый лук.

А Барбара стояла у своей дегустационной станции, там, где лучший обзор, и наблюдала за залом, полным людей, которые ещё не знали, что один из них уже выбран.

Кто станет главным блюдом вечера, я тогда не ведал.

Но чашка уже стояла на десертной станции. И я, дом, умеющий ждать, приготовился смотреть.

Глава 3. Выход шефа Трампа



20:15

Есть в жизни каждого здания момент, когда оно понимает: сейчас будет представление. Я, «Плаза», научился чувствовать это загодя — по тому, как меняется воздух, как разговоры теряют напор и оседают, как головы, ещё секунду назад повернутые друг к другу, начинают, будто по команде невидимого дирижёра, поворачиваться в одну сторону.

В четверть девятого я почувствовал это всей своей вековой кладкой.

Оркестр не смолк — его просто перестали слушать. Шипение масла на пятнадцати сковородах продолжалось, но и оно как будто притихло из вежливости. Смех оборвался на полуслове. Бокал, поднятый к губам, замер, не дойдя. Пятсот человек, каждый из которых привык быть центром собственной вселенной, вдруг разом согласились стать зрителями. А зритель — это, поверьте старому дому, куда более редкое существо, чем звезда. Звёзд в тот вечер было в избытке. Зрители же случались только тогда, когда выходил он.

И он вышел.

Не с парадного входа. Не из вестибюля, где мрамор и золото и где входят гости. Дональд Трамп появился из служебной двери — той самой, откуда весь вечер выпархивали официанты с подносами, откуда тянуло кухонным жаром и запа-

хом трюфеля. Из двери прислуги.

И это, читатель, был первый и, пожалуй, самый умный трюк того вечера. Потому что человек, который выходит из двери для слуг, говорит залу: смотрите, я не гнушаюсь чёрной работы, я один из тех, кто трудится, я свой. А человек, который выходит из двери для слуг под прицелом пятисот пар глаз, говорит совсем другое: даже дверь прислуги, когда через неё выхожу я, становится королевским порталом.

Оба сообщения были ложью. Оба сработали безупречно.

Но это был не тот Трамп, которого мои стены видели двумя часами раньше — не тот, что в смокинге второй кожи оглядывал мой фасад взглядом завоевателя. Этот был в белоснежном поварском кителе. Ослепительно чистом, без единого пятнышка — облачение человека, который ещё ничего не готовил, но уже собирается победить. Рукава закатаны до середины предплечья — жест работяги, отрепетированный, я уверен, перед зеркалом. А на голове — высокий поварской колпак.

Позвольте мне остановиться на этом колпаке. Ибо он делал своё дело безупречно. Он делал Трампа ещё выше. Вытягивал его к моим люстрам, добавлял добрых тридцать сантиметров чистого, накрахмаленного превосходства. Другие в тот вечер надевали колпаки и выглядели нелепо — сенаторы под ними напоминали грустных грибов, миллиардеры — детей на утреннике. На нём колпак сидел как корона, которую он к тому же считал заслуженной.

Он шёл через зал к своей станции, и толпа расступалась — не из страха, а из того особого любопытства, с которым люди смотрят на чужую безграничную уверенность в себе. Она заразительна, эта уверенность. Она как открытый огонь: и хочется погреться, и знаешь, что обожжёшься.

Рядом с ним — Ивана.

В этой сцене она была не спутницей. Она была ассистенткой фокусника — той, что подаёт цилиндр, из которого сейчас достанут кролика, и своей улыбкой убеждает зал, что кролик настоящий. Платье осталось тем же алым, лакуранским, победным, но поверх него теперь сидел кокетливый поварской колпак, сдвинутый набок с той рассчитанной небрежностью, на которую уходит больше времени, чем на строгую симметрию.

В руках она несла поднос с ингредиентами. Мраморная говядина, розовая и жирная, с прожилками сала, похожими на трещины в дорогом камне. Масло. Что-то тёмное в соуснике. Она несла поднос перед собой, как несут дары к алтарю, и смотрела на мужа со смесью восхищения и собственной гордости — тем взглядом, каким смотрят на человека, которого одновременно любят, которым владеют и которого чуть-чуть боятся. «Это мой мужчина, и посмотрите, какой он».

Но был один миг — короткий, я едва успел его поймать. Когда она подошла вплотную и наклонилась к его плечу, что-

бы шепнуть что-то — про соус ли, про свет камер, — он не наклонился в ответ. Он не услышал. Он смотрел в зал, поверх её колпака, поверх её алого плеча, и её слова растворились в шипении сковороды непринятыми. Ивана выпрямилась. Улыбка осталась на лице — но на полсекунды в ней не было ничего, кроме привычки. Так улыбаются в пустоту, когда думают, что никто не видит. Я видел. Через два года этот непринятый шёпот превратится в заявление о разводе, и весь город будет читать о нём в утренних газетах. Но пока — пока была только полсекунды тишины между двумя людьми, стоящими вплотную и глядящими в разные стороны.

Потом он опомнился, положил ладонь ей на локоть, и семейный номер продолжился как ни в чём не бывало.

Станция Трампа стояла в самом центре зала.

Разумеется, в центре. Прямо под главной люстрой — лучшей из моих люстр «Тиффани», той, что роняет свет как благословение и которую я приберегаю для важнейших минут. Остальные четырнадцать станций жались вдоль стен, как придворные. Его — царила в середине, и зарево лилось на неё вертикально, точно перст небесный, указующий: вот он, смотрите сюда.

А над станцией — вывеска. Золотом по чёрному, тем же шрифтом, каким выведено его имя на моём фасаде: «**Donald Trump's Signature Dish**».

Signature. Подпись. Как будто ужин можно подписать, как

чек. Впрочем, для него — можно. Для него всё на свете было либо сделкой, либо подписью под ней.

Что именно он готовил, я до конца так и не разобрал, — да и не в этом было дело, и он первый бы согласился. Что-то роскошное. Что-то маслянистое. Что-то до неприличия калорийное — мраморная говядина, свёрнутая в те самые дерзкие мини-бургеры, а рядом, кажется, лобстер, утопленный в соусе такой жирности, что он блестел под люстрой, как лакированный. Еда, которая не спрашивала разрешения. Еда, которая заявляла о себе так же громко, как её создатель.

Но главное было не блюдо. Главное было шоу.

Он взял в руку поварёшку.

И держал её — клянусь своими балками — не как поварёшку. Он держал её как микрофон. Обхватил рукоять, поднял к лицу, чуть развернулся к залу, к камерам, к свету — и в этот миг перестал быть поваром, каким притворялся тридцать секунд назад. Он стал тем, кем был всегда: человеком, у которого в руках сцена.

И тут случилось то, чего он, должно быть, ждал всю жизнь, не зная, как это назвать.

Тишина.

Не та вежливая полут тишина, что была раньше. Настоящая, полная, глухая. Оркестр умолк на вдохе. Последняя сковорода перестала шипеть. Звон бокалов, шёпот, шорох платьев — всё разом провалилось, будто кто-то накрыл зал

стеклянным колпаком. Полсекунды абсолютного, звенящего безмолвия, в котором пятьсот человек ждали его первого слова.

Он выдержал эту тишину. А потом разбил её голосом.

— Джентльмены, — покатилося по залу, отражаясь от моих золочёных карнизов, — запомните этот вечер.

Пауза. Он умел держать паузу.

— Вы увидите, как я умею делать деньги.

Смешок.

— А теперь увидите, как я умею делать ужин!

Смех громче.

— Разница невелика: и там, и там нужен острый нож и правильные ингредиенты.

И зал взорвался. Рукоплескания накатили волной — сначала центр, у самой станции, потом дальше, к стенам, потом задние ряды, спешащие присоединиться, чтобы не показаться недостаточно восхищёнными. Пятьсот пар ладоней. Тридцать вспышек, слившихся в одну белую молнию, залившую его так, что на мгновение мои люстры показались тусклыми — впервые за сто лет что-то в этом зале засияло ярче меня.

Он стоял в этом зареве, поварёшка в поднятой руке, колпак — под самый потолок, — и купался. Так плавает в тёплой воде человек, для которого чужое восхищение — не роскошь, а среда обитания, вода, без которой он задохнётся. Он вдыхал овации. Он рос от них.

А потом я заметил каплю пота.

Она сползла из-под края колпака, по правому виску, медленно, вниз, к скуле. Одна-единственная капля. Рука с поднятой поварёшкой чуть дрогнула — на долю секунды, не больше, — и он перехватил её крепче, чтобы никто не увидел. Но я видел. Держать на весу собственный триумф — тяжёлая работа. Тяжелее, чем кажется тем, кто снизу хлопает в ладоши. Под накрахмаленным белым кителем, под коронной-колпаком, в самом сердце оваций стоял немолодой уже мужчина, и ему было жарко, и рука его устала, и он не мог этого показать. Никогда не мог. В этом и была цена.

Он начал готовить — то есть изображать готовку с энергией человека, который твёрдо знает, что зрелище важнее результата. Бросил говядину на раскалённую сковороду — она зашипела, взметнув облачко пара точно в тот момент, когда на неё смотрели камеры. Взмахнул сковородой — пламя взвилось языком, послушное, как дрессированный зверь.

— Видите? — кричал он, перекрывая шипение. — Вот так делаются вещи! Быстро, красиво, по-крупному! Никаких полумер!

Финансист у соседней станции — тот самый безымянный, всё ещё воевавший с горелым луком, — посмотрел на это с тоской человека, понявшего, что проиграл ещё до подсчёта голосов.

— Генри! — крикнул Трамп в сторону Киссинджера, не переставая махать сковородой. — Дипломатия — это хоро-

шо! Но попробовал бы ты договориться вот с этим огнём!

Киссинджер поднял голову от зелени, чуть улыбнулся той улыбкой, что ничего не обещает, и вернулся к петрушке.

Фотографы кричали:

— Дональд! Сюда! Поварёшку выше! Ивана, ближе к нему!

И они давали — оба, безотказно. Он поднимал поварёшку. Она подходила, клала ладонь ему на плечо, наклоняла голову так, чтобы бриллианты в ушах поймали блеск. Щёлк. Щёлк. Завтрашние первые полосы рождались здесь, в реальном времени. Потому что вот что я понял за сто лет, читатель: самое искреннее в таких людях — это их жажда быть увиденными. Всё остальное они умеют подделывать. Это — нет.

Он снял с огня первую порцию. Мини-бургер, крохотный, идеальный, блестящий от масла, — и, прежде чем поднять его на лопатке над головой, вдруг откусил сам. Быстро, украдкой, как мальчишка ворует со сковородки, пока мать не видит.

И вот тут я увидел странное.

На долю секунды с его лица сползло всё. Овации, камеры, колпак, вывеска, четыреста семь миллионов долларов — всё сползло, как сползает пена с волны. Потому что вкус этого дорогого, мраморного, ресторанного бургера на языке вдруг оказался вкусом другого, дешёвого, за шестьдесят центов,

съеденного стоя у прилавка в Квинсе, тридцать лет назад, когда никто ещё не знал его имени, когда не было ни колпака, ни вывески, ни зала. Мальчишка из Квинса под золотой вывеской со своей фамилией — на один укус он снова стал тем мальчишкой. И, кажется, впервые за вечер что-то в нём было настоящим не напоказ.

Потом он проглотил — и вместе с куском проглотил воспоминание. Поднял бургер на лопатке над головой, как трофей.

— Вот! — провозгласил он. — Вот что значит — сделано правильно!

Новая волна. Новый гром.

И в самый пик его, когда лопатка была поднята выше колпака, глаза Трампа на долю секунды скользнули поверх голов. Не к кому-то. Просто поверх. В ту пустую точку над толпой, куда смотрят люди, которым только что дали всё, чего они просили, и которые в это мгновение с ужасом обнаруживают, что этого мало. Что этого всегда будет мало. Овации — как та жирная еда на его сковороде: чем больше их, тем сильнее голод.

Мгновение прошло. Улыбка вернулась. Никто не заметил.

А в дальнем углу зала, у распахнутой служебной двери, стоял официант.

Немолодой человек в безупречной ливрее, с подносом грязных бокалов на плече. Он не хлопал. Он смотрел на

Трампа без восторга и без злобы — просто устало, как смотрят на погоду за окном. Он видел на своём веку десятки таких вечеров и знал то, чего не знали пятьсот рукоплещущих гостей: что через час зал опустеет, что кто-то забудет под столом туфельку, что горячий шоколад, оставшийся на кухне, будут допивать вот такие, как он, — стоя, из простых чашек, в тишине. Он поймал мой взгляд — а дома умеют встречаться взглядом с теми, кто их обслуживает, — и едва заметно повёл плечом. Мол, видали и погромче. Потом повернулся и ушёл за дверь, унося чужие пустые бокалы.

Этот жест плечом сказал мне о том вечере больше, чем все овации, вместе взятые.

— Попробуйте! — командовал Трамп, и официанты уже несли крохотные тарелки в толпу. — Все попробуйте! Сегодня вы едите историю!

И они пробовали. И это было — признаю честно — вкусно. Дерзко, жирно, избыточно, как всё, к чему он прикасался. Бьянка Джаггер, отставив свой мстительный помидор, попробовала кусочек, приподняла бровь и сказала что-то, отчего стоявшие рядом рассмеялись. Даже Барбара, у дегустационной станции на другом конце зала, приняла тарелочку. Попробовала. Едва заметно кивнула.

И записала что-то в той невидимой книге, которую вела весь вечер. Не о вкусе бургера. О человеке, который так отчаянно хотел, чтобы бургер понравился.

Их взгляды — его и её — пересеклись через весь зал, над головами, сквозь дым и вспышки. Он — на пике, в короне из колпака, залитый рукоплесканиями. Она — в тени судейской станции, тихая, тёмно-синяя, наблюдающая. Он поднял ей поварёшку в шутиливом салюте. Она подняла в ответ бокал, которого так и не пригубила за весь вечер.

Ни один из них не знал тогда, что настоящий разговор случится много позже этой ночью, у окна, выходящего на парк, — не под гром оваций, а в полной тишине. И что говорить они будут не о деньгах и не об ужине, а о том единственном, что нельзя ни продать, ни приготовить на публику. И что на столе между ними будет стоять не шампанское за тысячу долларов, а две простые фарфоровые чашки.

Но до той тишины было ещё несколько часов и целая жизнь громкости.

Пока же он гремел под моей главной люстрой. Король кулинарной войны, шеф-завоеватель, человек, чьё имя горело золотом и на фасаде, и над станцией, и — он был в этом уверен — в самом сердце города. Пятьсот человек смотрели на него. Тридцать камер его снимали. Огонь взвивался по команде. Масло блестело.

Он не знал — да и как было знать? — что ровно через год этот зал станет ему чужим. Что рынок рухнет, банки потребуют долги, а имя над входом придётся отдать вместе с отелем. Что однажды ноябрьским утром он позвонит секре-

тарю и хриплым голосом потребует принести горячий шоколад из «Плазы» — а в ответ услышит: «Сэр, „Плаза“ больше не ваша». Всё это было записано где-то на невидимой стене его будущего, но чернила ещё не проступили, и он поднимал поварёшку к свету, счастливый и громкий, царь на один вечер в доме, который переживёт и его царство, и его самого.

Он поднял её в последний раз, поймал последнюю вспышку, послал залу ту самую победную улыбку — и зал ответил новым валом восторга.

А я, «Плаза», стоял вокруг всего этого своими старыми стенами и думал одну простую мысль, которую здания думают о людях в минуты их наивысшего торжества.

Как громко. Боже, как громко. И как тихо, должно быть, ему станет, когда все они разойдутся по домам.

Но об этом — потом. Пока — гром. Пока — зарево. Пока — король у плиты.

Глава 4. Тяжеловесы



21:00

За сто лет я, «Плаза», научился различать сорта тишины и сорта шума. Есть шум праздника — пенистый, лёгкий, он не оставляет следов на штукатурке. Есть шум скандала — острый, он въедается в стены на годы. А есть шум, который входит вместе с человеком и не имеет к словам никакого отношения. Такой шум я почувствовал ровно в девять, ещё до того, как двери в дальнем конце зала распахнулись.

Воздух изменился. Так меняется он перед грозой — становится плотным, наэлектризованным, тяжёлым на языке. Гости, увлечённые кулинарной войной, ещё ничего не заметили, но я заметил: что-то большое и опасное вошло в мой дом, и мои старые балки это почувствовали раньше людей.

А потом заметили и люди.

Он вошёл — и зал будто качнулся в его сторону, как вода качается к брошенному камню.

Майк Тайсон. Двадцать три года. Чемпион мира в тяжёлом весе — самый молодой в истории, гроза планеты, человек, чьё имя произносили с той смесью восторга и страха, какую вызывает стихийное бедствие, случившееся с кем-то другим.

На нём был смокинг. Дорогой, сшитый по мерке, сидевший на его фигуре как вторая кожа — так, как умеют шить

только очень хорошие портные за очень большие деньги. И всё же смокинг проигрывал. Он обтягивал плечи, которые не были созданы для смокингов, он честно старался облагородить тело, которое природа выточила не для балов, а для разрушения. А шея — шея выдавала всё. Толще, чем у любого мужчины в этом зале, шире воротника, она вырастала из белого крахмального ворота как ствол дерева из тесной решётки. Эта шея говорила громче любых слов: перед вами человек из другого мира. Из мира, где нет вилок для рыбы и карт вин, где всё решается за три минуты в квадрате, огороженном канатами.

От него исходила энергия — дикая, первобытная, та, что не имеет отношения к воспитанию и не поддаётся дрессировке. Люди чувствовали её кожей и, сами того не понимая, чуть отступали, освобождая ему больше пространства, чем требовало его тело. Так расступается лес перед крупным зверем — не из вежливости, а из древнего, вписанного в кровь инстинкта.

И зверь этот молчал. Он шёл через зал, полный самых громких людей Америки, и не говорил ни слова.

За него говорил другой.

Дон Кинг влетел в зал как фейерверк, у которого перепутали фитили.

Фрак. Чёрная бабочка. И над всем этим — та самая причёска, знаменитая на весь свет: седые волосы, вставшие ды-

бом, торчащие во все стороны разом, будто их обладатель только что сунул оба кулака в электрическую розетку и остался этим страшно доволен. Причёска, бросающая вызов и гравитации, и здравому смыслу, и хорошему вкусу — и побеждавшая все три.

Он улыбался. Он улыбался так широко, что были видны все зубы разом, до самых дальних, — улыбкой человека, который продаст вам мост, и вы уйдёте счастливым, ещё и поблагодарив. И он хлопал. Хлопал по спине каждого, кто имел неосторожность оказаться на расстоянии вытянутой руки, — сенатора, официанта, незнакомую даму в мехах, — раздавая эти хлопки щедро, как золото, которого у него было в избытке: и на пальцах, и в зубах, и в голосе.

Двое. Один — золотой, хохочущий, гремящий, заполняющий собой весь объём зала. Другой — тёмный, молчаливый, тяжёлый, как гирия. Клоун и его укрощённый лев. Продавец и его товар. Они шли прямо к центру зала — прямо к станции Трампа, под мою главную люстру.

— Дональд! — Голос Дона Кинга перекрыл оркестр, перекрыл шипение сковород, перекрыл вообще всё, что в этот момент звучало в моих стенах. — Мой брат!

Трамп поднял голову от сковороды.

— Ты решил стать поваром, когда все боксёры уже разобраны? — Кинг раскинул руки, обращаясь уже не к Трампу, а ко всему залу, к невидимым трибунам, которые он таскал

за собой всюду. — Майк, посмотри на этого человека! Он и здесь устроит нокаут!

Зал засмеялся. Кинг умел вырывать смех из людей так же, как умел вырывать подписи из контрактов, — прежде, чем они успевали подумать, хотят ли они смеяться.

Трампа вытер руки полотенцем — неторопливо, давая фотографам время навестись, — вышел из-за станции и протянул руку.

И вот тут случилось то, что я, старый дом, отметил с особым вниманием, потому что случалось это редко.

Дональд Трамп посмотрел на человека снизу вверх.

Всего на несколько сантиметров — Тайсон был не выше многих, но шире, плотнее, тяжелее, — и всё же снизу вверх. А это, поверьте, происходило нечасто. Обычно всё в этом зале смотрело на Трампа либо снизу, либо на одном уровне; он выстраивал вокруг себя мир так, чтобы не приходилось задира́ть голову. Но перед этой шеей, перед этой спокойной звериной массой даже он на мгновение стал просителем. И — я видел — ему это не понравилось. И одновременно понравилось. Потому что там, где обычный человек почувствовал бы неловкость, Трамп почувствовал возможность.

Их руки встретились. Рукопожатие двух тяжеловесов — одного из мира денег, другого из мира кулаков. Тайсон сжал ладонь Трампа своей — той самой, что отправляла в нокаут взрослых мужчин, — сжал вполсилы, осторожно, как сжимают что-то хрупкое, и всё равно Трамп на долю секунды

напрягся.

— Майк, — сказал он, и голос его чуть изменился — в нём появилась та особая теплота, которую он приберегал не для друзей, а для активов. — Когда ты выйдешь на ринг в следующий раз, я хочу, чтобы это было в одном из моих отелей. Мы устроим шоу, которого этот город ещё не видел.

Тайсон молчал. Кивнул. И улыбнулся — коротко, почти застенчиво, и эта улыбка, мелькнувшая на лице грозы планеты, была странно детской, будто из-под маски чемпиона на секунду выглянул мальчишка из Браунсвилла, который до сих пор не до конца верит, что его пустили в такой красивый зал.

За него ответил Кинг:

— Брат, это будет сделано! — Он хлопнул Трампа по плечу так, что тот качнулся. — Майк выйдет там, где скажешь, и порвёт любого, кого поставишь напротив! А сейчас — сейчас дай нам попробовать, что ты тут наготовил. Надеюсь, оно такое же крепкое, как правый Майка!

Трамп, довольный, повернулся к станции, подхватил на две маленькие тарелки по порции своего блюда — мраморная говядина, блестящая от масла, — и протянул гостям.

Кинг схватил свою и заговорил о чём-то ещё, не переставая жевать, не переставая хохотать, не переставая быть Доном Кингом ни на секунду.

А Тайсон взял тарелку в свою огромную ладонь — она

утонула в ней, эта изящная тарелочка, стала игрушечной, — поднёс ко рту и попробовал.

И вот тут зал, сам того не заметив, затаил дыхание. Потому что все смотрели. Пятьсот человек, притворявшихся, что заняты своими разговорами, на самом деле следили за одним: понравится ли чемпиону.

Тайсон прожевал. Зажмурился на секунду — по-настоящему, всем лицом, как жмурится человек, которому действительно вкусно, а не как жмурятся светские гости, изображающие восторг. А потом улыбнулся. Шире, чем прежде. По-настоящему.

Ему понравилось.

И это, читатель, была лучшая реклама вечера — лучше любых оваций, лучше любых вспышек. Потому что этот молчаливый, страшный, настоящий человек не умел притворяться. Когда он жмурился от удовольствия — весь зал верил. Трамп это понял мгновенно. Я видел, как в его глазах что-то щёлкнуло, подсчиталось, легло в невидимую бухгалтерскую книгу: вот оно, вот подлинность, которую нельзя купить, но можно нанять.

Фотографы обезумели. Такого подарка они не ждали — Трамп, Тайсон и Кинг в одном кадре, у одной станции, под одной люстрой. Вспышки слились в сплошное белое зарево. — Ближе! Майк, Дональд, ближе! Дон, поднимите тарелки!

И они поднимали. Кинг — с хохотом, вскинув тарелку над головой, как трофейный пояс. Трамп — с победной улыбкой хозяина, залучившего в свой дом главную диковину сезона. И только Тайсон стоял между ними чуть отстранённо, держа тарелку на уровне груди, и улыбался в камеры той же неуверенной полуулыбкой, будто до сих пор не понимал, зачем он здесь и почему все так кричат.

Я смотрел на него и думал вещь, которую здания думают о людях, оказавшихся не на своём месте. Через несколько лет этот мальчик из Браунсвилла потеряет всё — титулы, деньги, свободу; человек, что хохотал сейчас рядом с ним и хлопал его по спине, будет назван в судах и книгах тем, кто выпил его досуха и бросил пустую оболочку. А человек, что смотрел на него снизу вверх с таким тёплым интересом, к тому времени будет занят спасением собственной тонущей империи. Но пока — пока все трое стояли под моей люстрой, подняв тарелки, и улыбались в объективы, и никто из них не знал, кто кого переживёт.

Атмосфера в зале переменилась — вот что было главным в этом появлении. До Тайсона это был бал власти: тихой, отполированной, застёгнутой на все пуговицы власти денег и политики, где всё решалось шёпотом и подписью. Тайсон принёс с собой другую власть — грубую, телесную, честную в своей грубости. Власть кулака среди власти чековых книжек. И странным образом эта грубая сила освежила зал, как

гроза освежает душный вечер.

Сенаторы, что весь вечер осторожно нахваливали друг другу паштеты, потянулись поближе — взглянуть на чемпиона. Дамы, шептавшиеся о нарядах, замолчали и смотрели на его шею, на его руки с той опасливой женской смесью страха и любопытства, что старше всякой цивилизации. Даже Киссинджер оторвался от своей зелени и несколько секунд разглядывал Тайсона поверх очков — один человек, менявший историю росчерком пера, изучал другого, менявшего её ударом кулака, и в этом взгляде было профессиональное уважение к чужому инструменту силы.

А в дальнем углу, у своей дегустационной станции, стояла Барбара.

Она не подошла. Хищник не бросается на добычу вместе с толпой — хищник наблюдает из тени. И она наблюдала: как Кинг хохочет и хлопает, как Трамп подсчитывает, как Тайсон молчит. Её взгляд задержался на чемпионе дольше всего — не на его славе, не на его шее, а на той детской неуверенной улыбке, что не вязалась ни с чем вокруг. Она узнала эту улыбку. Так улыбаются люди, которых привели, а не которые пришли. И где-то в невидимой книге, которую она вела весь вечер, рядом с именем Тайсона появилась короткая пометка — не «чемпион», а что-то куда более человеческое и куда более грустное. Барбара Уолтерс за тридцать лет интервью научилась видеть жертву раньше, чем та узнавала об этом сама.

Кинг между тем уже перешёл к следующей жертве своего обаяния — рассказывал стоявшему рядом конгрессмену историю, размахивая руками, роняя крошки трамповской говядины на лацканы фрака, и хохотал так, что дрожали хрустальные подвески на моей люстре. Историю никто толком не слушал — все смотрели на Тайсона, — но Кинга это ничуть не смущало. Он говорил не для того, чтобы его слушали. Он говорил, чтобы заполнять собой пространство, чтобы никто не успел подумать, чтобы шум не смолкал, потому что в тишине люди начинают задавать вопросы, а вопросы Дон Кинг не любил.

И только Тайсон, оказавшись на секунду без направленного на него слова, без камеры, без протянутой руки, вдруг обмяк. Плечи под смокингом опустились на сантиметр. Улыбка сползла. И на лице его — на долю мгновения, пока никто, кроме меня, не смотрел, — проступила усталость. Огромная, тяжёлая усталость человека, которого весь мир хочет либо потрогать, либо использовать, и который не помнит уже, когда в последний раз кто-то просто спросил, как он себя чувствует.

Он посмотрел на маленькую пустую тарелку в своей огромной руке. И, кажется, ему было хорошо только от одного во всём этом сверкающем зале — от того, что еда оказалась вкусной. По-настоящему. Без подвоха.

Потом кто-то окликнул его, кто-то навёл камеру, Кинг

вернулся с новым хлопком по спине — и маска чемпиона встала на место. Улыбка. Кивок. Стихийное бедствие снова было готово позировать.

Трамп вернулся за свою станцию, но я видел: он уже не готовил. Он смотрел вслед этим двоим тем особым взглядом, который был мне так знаком, — взглядом человека, увидевшего не гостя, а возможность. В его глазах Тайсон перестал быть человеком где-то между третьим и четвёртым глотком того горячего шоколада, который случится много позже, — Тайсон стал строчкой в будущем балансе. Активом. Огромным, опасным, непредсказуемым, но — если правильно вложиться, если привезти на нужный ринг в нужный отель — безумно прибыльным активом.

Он ещё не знал, что через несколько лет этот актив рухнет самым громким и самым уродливым образом, какой только можно вообразить, и утянет за собой чужие репутации и целые состояния. Он видел только блеск. Он всегда видел только блеск. Это было и его силой, и его проклятием — способность видеть золото и не замечать человека, который под этим золотом медленно ломается.

Но всё это было впереди. А пока — пока в моём зале гремел Дон Кинг, молчал Майк Тайсон, подсчитывал Дональд Трамп и наблюдала из тени Барбара Уолтерс. Четыре судьбы под одной люстрой, в один ноябрьский вечер, ещё не знающие, чем всё кончится.

Я знал. Здания всегда знают — потому что мы остаёмся, когда люди уходят. Но я, как всегда, молчал. Дома умеют хранить то, что видят. Это единственное, что мы умеем по-настоящему.

Оркестр заиграл громче. Вспышки не гасли. Чемпион мира улыбался в камеры своей детской улыбкой, и никто, кроме старого дома, не заметил, как он устал.

Глава 5. Тени прошлого



21:30

Гроза, которую принёс с собой Тайсон, отгремела и откатилась к дальнему бару, унося за собой хохот Дона Кинга. Зал выдохнул и вернулся к прежней игре — тихой, отполированной, застёгнутой на все пуговицы. И в эту вернувшуюся тишину, как рыба возвращается в привычную воду, всплыла она.

Барбара.

Она двигалась между станциями с маленькой дегустационной вилкой в руке — серебряной, изящной, почти игрушечной. Вилка была её пропуском, её предлогом, её удочкой. С такой вилкой можно подойти к кому угодно: к сенатору, к вдове миллиардера, к бывшему президенту — и никто не заподозрит охоты, потому что охотник пришёл всего лишь попробовать паштет.

Но она почти не пробовала. Я наблюдал за ней весь вечер и понял главное: у Барбары Уолтерс взгляд работал сильнее языка. Она подносила вилку к губам, но еда её не интересовала — её интересовало лицо человека, который эту еду приготовил. Как он ждёт вердикта. Как сжимает полотенце. Как улыбка его на долю секунды каменеет перед тем, как она произнесёт «божественно». В эту долю секунды человек был весь как на ладони, и она читала его — быстро, безжалостно, профессионально, — а потом убирала прочитанное в ту

невидимую книгу, которую вела всю жизнь.

Она читала зал, как другие читают меню.

Вот жена сенатора у своей станции — руки чуть дрожат, подавая ломтик пирога, глаза заискивающе бегают. *Неуверенна. Ищет одобрения. Значит, несчастлива в браке, где одобрения не дают.* Вот сам Трамп на другом конце — отошёл от плиты, но краем глаза, неотрывно, ловит каждую реакцию гостя, попробовавшего его бургер. *Ему мало победы. Ему нужно видеть победу в чужих зрачках, иначе её как будто и нет.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.